

Р о с с и й с к а я
национальная премия

«*Поэт*»

ШЕСТИ
ПОЭТ

*Общество поощрения
русской поэзии*

Российское открытое
акционерное общество
энергетики и электрификации
«ЕЭС России»



РАО "ЕЭС России"



Общество
поощрения
русской поэзии

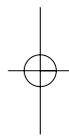
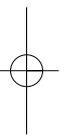
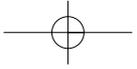
ШЕСТИ

*Тимур
Кибиров*

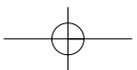
В честь
присуждения
Российской
национальной
премии
«Поэт»

2 0 0 8

Поэт



© Валерий Калныньш, макет, оформление, 2008
© «Время», 2008



музыка

Российская национальная премия «Поэт» учреждена Обществом поощрения русской поэзии при поддержке РАО «ЕЭС России» в апреле 2005 как награда за наивысшие достижения в современной русской поэзии.

Согласно статусу премии, ею могут быть награждены только ныне живущие поэты, пишущие на русском языке, безотносительно к их национальности и месту проживания. Премия может быть присуждена одному лицу только один раз. Разделение премии между двумя или более лауреатами и присуждение премии посмертно не предусматривается.

Право номинации (выдвижения на соискание премии) принадлежит только членам Попечительского совета Общества поощрения русской поэзии, созданного по инициативе группы литературных критиков и литературоведов при поддержке РАО «ЕЭС России».

Имя лауреата определяется тайным голосованием жюри, состоящего из членов Попечительского совета, либо формируемого по его решению.

Лауреату премии «Поэт» вручаются диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение, сумма которого эквивалентна 50 000 долларов США.

Помимо присуждения Российской национальной премии «Поэт» Общество поощрения русской поэзии намерено развернуть широкую деятельность по привлечению общественного внимания к современной поэзии, поощрению творчества молодых, ярко заявивших о себе поэтов, а также исследований в области классической и современной русской литературы.



муром

Тимур Кибиров

четырнадцать
стихотворений

Тимур

ЛИРИЧЕСКАЯ ИНТЕРМЕДИЯ

Смотрят замки, горы, доли
в глубь хрустальных рейнских вод.
Моцарт, Моцарт, друг веселый,
под руку меня берет.

Час вечерний, луч прощальный,
бьют на ратуше часы.
Облака над лесом дальним
удивительной красоты.

Легкий дым над черепицей,
липы старые в цвету.
Ах, мой друг, пора проститься!
Моцарт! Скоро я уйду!

Моцарт! Скоро я уеду
за кибиткой кочевой.
У маркграфа на обеде
я не буду, дорогой.

Передай поклон Миньоне.
Альманах оставь себе.
Друг любезный! Я на зоне
буду помнить о тебе.

Знаешь край? Не знаешь края,
где уж знать тебе его!
Там, над кровлей завывая,
бьются бесы — кто кого!

Там такого мозельвейна
поднесут тебе, дружок,
что скопытишься мгновенно
со своих прыгучих ног.

Там и холодно и страшно!
Там прекрасно! Там беда!
Друг мой, брат мой, ночью ясной
там горит моя звезда.

Знаешь край? Я сам не знаю,
что за край такой чудной,
но туда, туда, туда я
должен следовать, родной.

Кто куда — а я в Россию,
я на родину щегла.
Иней белый, ситец синий.
Моцарт, Моцарт! Мне пора.

Кто о чем, а я о бане,
о кровавой бане я...
До свиданья, до свиданья!
Моцарт! Не забудь меня!

Я иду во имя жизни
на земле и в небесах,
в нашей радостной Отчизне,
в наших радужных лучах!

Ждет меня моя сторонка,
край невыносимый мой!
Моцарт рассмеялся звонко:
«Что ж, и я не прочь с тобой!»

Моцарт, друг ты мой сердечный,
таракан запечный мой!
Что ты гонишь, дух беспечный,
сын гармонии святой!

Ну куда тебя такого?
Слишком глуп ты, слишком юн.
Что для русского здорово,
то для немца карачун!

Нет уж! Надо расставаться!
Полно, херц, майн херц, уймись!
Больше нечего бояться.
Будет смерть, и будет жизнь.

Будет, будет звук тончайший
по-над бездною лететь,
и во мраке глубочайшем
луч легчайший будет петь!

Так прощай же! За горою
ворон каркает ночной.
Моцарт, Моцарт, Бог с тобою!
Бог с тобою и со мной!

Моцарт слушал со вниманьем.
Опечалился слегка.
«Что ж, прощай. Но на прощанье
на, возьми бурундука!

В час печали, в час отчаянья
он тебя утешит, друг,
мой пушистый, золотистый,
мой волшебный бурундук!

Вот он, зверик мой послушный:
глазки умные блестят,
щиплют струны лапки шустры
и по клавишам стучат!»

Ай, спасибо, Моцарт, милый,
ах, прекрасный бурундук!

До свиданья! До могилы
я с тобой, любезный друг!

И иду, иду в Россию,
оглянулся — он стоит.
Сквозь пространства роковые
Моцарт мне вослед глядит.

Машет, машет треуголкой,
в золотом луче горя,
и ему со Вшивой Горки
помахал ушанкой я.

Гадом буду — не забуду
нашей дружбы, корешок,
ведь всегда, везде со мною
твой смешной бурундучок.

И под ватничком пригревшись,
лапки шустры сложив,
он поет, и я шагаю
под волшебный тот мотив.

п
о
е
т

ЭКЛОГА

Мой друг, мой нежный друг, в пунцовом георгине
могучий шмель гудит, зарывшись с головой.
Но крупный дождь грибной так легок на помине,
так сладок для ботвы, для кожи золотой.

Уж огурцы в цвету, мой нежный друг. Взгляни же
и, ангел мой, пойми — нам некуда идти.
Прошедший дождь проник сквозь шиферную крышу
и томик намочил Эжена де Кюсти.

Чей перевод, скажи? Гандлевского, наверно.
Анакреонтов лад, горацанский строй.
И огурцы в цвету, и звон цикады мерный,
кузнечика точней и лиры золотой.

И солнце сквозь листву, и шмель неторопливый,
и фавна тихий смех, и сонных кур возня.
Сюда, мой друг, сюда, мой ангел нерадивый,
приляг, мой нежный друг, и не тревожь меня.

О, наледи на нос листок светло-зеленый,
о, закрывай глаза и слушай в полусне
то пение цикад, то звон цевницы сонной,
то бормотанье волн, то пенье в стороне

аркадских пастухов — из томика, из плавной
медовой глубины, летейской тишины,
и тихий смех в кустах полуденного фавна,
и лепет огурцов, и шепот бузины.

Сюда, сюда, мой друг! Ты знаешь край, где никнет
клубника в чернозем на радость муравьям,
где сохнет на столе подмоченная книга
Эжена де Кюсти, и за забором там

соседа-фавна смех, и рожки, и гармошка,
и Хлои поясок, дриады локоток,
и некуда идти. И за грядой картошки
заросший ручеек, расшатанный мосток.

Черный
ручеек

ВМЕСТО ЭПИГРАФА

Из Джона Шейда

Когда, открыв глаза, ты сразу их зажмуришь
от блеска зелени в распахнутом окне,
от пенья этих птиц, от этого июля, —
не стыдно ли тебе? Не страшно ли тебе?

Когда сквозь синих туч на воды упадет
косой последний луч в осенней тишине,
и льется по волне, и долго остывает, —
не страшно ли тебе? Не стыдно ли тебе?

Когда летящий снег из мрака возникает
в лучах случайных фар, скользнувших по стене,
и пропадает вновь, и вновь бесшумно тает
на девичьей щеке, — не страшно ли тебе?

Не страшно ли тебе, не стыдно ль — по асфальту
когда вода течет, чернеет по весне,
и в лужах облака, и солнце лижет парту
четвертой четверти, — не стыдно ли тебе?

Я не могу сказать, о чем я, я не знаю...
Так просто, ерунда. Всё глупости одне...
Такая красота, и тишина такая...
Не страшно ли, скажи? Не стыдно ли тебе?

* * *

Майский жук прилетел из дошкольных времен.
Привяжу ему нитку на лапку.
Пусть несет меня в мир, где я был вознесен
на закорки военного папки.

В забылицу о том, как я нравился всем,
в фокус-покус лучей обожанья,
в угол, где отбывал я — недолго совсем —
по доносу сестры наказанье.

Где страшнее всего было то, что убил
сын соседский лягушку живую
и что ревой-коровой меня он дразнил,
когда с ветки упал в крапиву я.

В белой кухне бабуля стоит над плитой.
Я вбегаю, обиженный болью.
Но поставлен на стул и читаю Барто,
первомайское теша застолье.

И из бани я с дедушкой рядом иду,
чистый-чистый под синей матроской.
Алычою зеленой объемся в саду,
перемажусь в сарае известкой.

Где не то что оправдывать — и подавать
я надежды еще не обязан.
И опять к логопеду ведет меня мать,
и язык мой еще не развязан.

* * *

Чуть правее луны загорелась звезда.
Чуть правее и выше луны.
Грузовик прогудел посреди тишины
и пропал в тишине навсегда.
И в чешуйках пруда
раздробилась звезда.
И ничто не умрет никогда.

То ли Фет, то ли Блок, то ль Исаев Егор —
просто ночь над деревней стоит.
Просто ветер тихонько листы шевелит.
Просто так. Так о чем говорить?
И с каких это пор
этот лепет и вздор
увлажняют насмешливый взор?

Что́ ты, сердце? — Да так как-то всё, ничего. —
Ничего, так не надо щемить!
Но, как в юности ранней вопрос половой,
что-то важное надо решить.
То ли все позабыть,
то ли все сохранить
не пролить, не отдать ничего.

То ль куда-то уйти, то ль остаться навек,
то ли лопнуть от счастья и слез,
петь, что́ вижу, как из анекдота чучмек,
нюхать ветер ночной во весь нос.
И всего-то нужны
две на палке струны.
Сформулируй же точно вопрос!

Скажем так — почему это все, почему
это все? Ну за что же, зачем?
Есть ли Бог? Да не в этом ведь дело совсем!
Он-то есть, но, видать по всему,
Он не то чтобы нем,
Он доступен не всем,
Я его никогда не пойму.

Просто ивы красивы, и тополь высок,
высотой почти до звезды.
Просто пахнут и пахнут ночные цветы.
Просто жизнь продолжается впрок.
Просто дал я зарок
пред лицом пустоты...
Дайте срок, только дайте мне срок.

А в г у с т 1 9 9 3

Просто

* * *

Чайник кипит. Телик гудит.
Так незаметно и жизнь пролетит.

Жизнь пролетит, и приблизится то,
что атеист называет Ничто,

что Баратынский не хочет назвать
дочерью тьмы — ибо кто тогда мать?

Выкипит чайник. Окислится медь.
Дымом взoveтся бетонная твердь.

Дымом развеются стол и кровать,
эти обои и эта тетрадь.

Так что покуда чаевничай, друг...
Время подумать, да все недосуг.

Время подумать уже о душе,
а о другом поздновато уже.

Думать, лежать в темноте. Вспоминать.
Только не врать. Если б только не врать.

Вспомнить, как пахла в серванте халва,
и подобрать для серванта слова.

Вспомнить, как дедушка голову брил.
Он на ремне свою бритву точил.

С этим ремнем по общаге ночной
шел я, качаясь. И вспомнить, какой

цвет, и какая фактура, и как
солнце, садясь, освещало чердак...

Чайник кипел. Примус гудел.
Толик Шмелев мастерил самострел.

1995

Шмелев

* * *

Щекою прижавшись к шинели отца —
вот так бы и жить.

Вот так бы и жить — ничему не служить,
заботы забыть, полномочья сложить,
и все попеченья навек отложить,
и глупую гордость самца.
Вот так бы и жить.

На стриженем жалком затылке своем
ладонь ощутить.
Вот так быть любимым, вот так бы любить
и знать, что простит, что всегда защитит,
что лишь понарошку ремнем он грозит,
что мы не умрем.

Что эта кровать, и ковер, и трюмо,
и это окно
незыблемы, что никому не дано
нарушить сей мир и сей шкаф платяной
подвинуть. Но мы переедем зимой.
Я знаю одно,

я знаю, что рушится все на глазах,
стропила скрипят.
Вновь релятивизмом кичится Пилат.
А стены, как в доме Нуф-Нуфа, дрожат
и в щели ползет торжествующий ад,
хохочущий страх.

Что хочется грохнуть по стеклам в сердцах,
в истерику впасть,
что легкого легче предать и проклясть
в преддверье конца.
И я разеваю слюнявую пасть,
чтоб вновь заглотить галилейскую снасть,
и к ризам разодранным Сына припасть,
и к ризам нетленным Отца!

Прижавшись щекою, наплакаться всласть
и встать до конца.

1996

П
О
Е
М

* * *

Даешь деконструкцию! Дали.
А дальше-то что? — А ничто.
Над кучей ненужных деталей
сидим в мирозданье пустом.

Постылые эти бирюльки
то так мы разложим, то сяк,
и эхом неясным и гулким
кромешный отвечает мрак.

Не склеить уже эти штучки,
и дрючки уже не собрать.
И мы продолжаем докучно
развинчивать и расщеплять.

Кто делает вид, кто и вправду
никак не поймет, дурачок,
что шуточки эти не в радость
и эта премудрость не впрок.

И, видимо, мира основы
держались еще кое-как
на честном бессмысленном слове
и на простодушных соплях.

1998

* * *

Хорошо бы
крышкой гроба
принакрыться и уснуть.

Хорошо бы.
Только чтобы
воздымалась тихо грудь.

И неплохо бы, конечно,
чтобы сладкий голос пел,
чтобы милый друг сердечный
тут же рядышком сопел!

Вот такую песню пела
мне Психея по пути,
потому что не хотела
за картошкой идти.

1 9 9 9

п
о
е
ш
т

* * *

К. Гадаеву

Пастернак наделен вечным детством.
Вечным отрочеством — Маяковский.
Вечной женственностью — Блок и Белый.
А мужчина-то только один —
Александр Сергеевич Пушкин.

Это тост, Константин!
Где же кружка?

тост

* * *

Блоку жена.
Исаковскому мать.
И Долматовскому мать.
Мне как прикажешь тебя называть?
Бабушкой? Нет, ни хрена.

Тещей скорей. Малахольный зятек,
приноровиться я так и не смог
к норову, крову, нутру твоему
и до сих пор не пойму, что к чему.
Непостижимо уму.

Ошеломлен я ухваткой твоей,
ширью морей разлитых и щей,
глубью заплывших, залитых очей,
высью дебелих грудей.

Мелет Емелька, да Стенька дурит,
Мара да хмара на нарах храпит
Чара визжит-верещит.

Чарочка — чок, да дубинушка — хрясь!
Днесь поминаем, что пили вчерась,
что учудили надысь.
Ась, да авось, да окстись.

Что мне в тебе? Ни аза, ни шиша.
Только вот дочка твоя хороша,
не по хорóшу мила.
В Блока, наверно, пошла.

* * *

Большое спасибо, Создатель,
что вплоть до последнего дня
и праздным, и дураковатым
еще сохраняешь меня,

что средь серьезных и пышных,
и важных, и тяжких, как грех,
еще, никудышный и лишний,
не в силах я сдерживать смех,

что ты позволяешь мне шляться,
прогуливать и привирать,
играться, и с толку сбиваться,
а может быть, даже сбивать,
за то, что любили, жалели
меня ни за что ни про что,
пускали в дома и постели,
сажали за праздничный стол!

Отдельное также спасибо
за ту, что не любит еще,
но так уж светла и красива,
что мне без того хорошо.

За легкую, легкую лиру,
за легкость мою на подъем,
и что не с прогорклого жиру
бешусь я на пире Твоем!

Спасибо за мозг и за фаллос,
за ухо, и горло, и нос,
за то, что так много досталось,
и как-то само утряслось,

что не по грехам моим судишь,
а по милосердию Твоему,
и вновь беспроцентную ссуду
вручаешь незнамо кому,

что смотришь сквозь пальцы на это,
что Ты не зануда и жмот,
и не призываешь к ответу
за каждый насущный ломоть!
Что свет загорается утром
и светит в течение дня,
и что, как Макаренко, мудро
доверьем ты учишь меня,

что праздность мою наполняешь
своим драгоценным вином
и щедрой рукой подливаешь,
скрывая скудельное дно.

Коль все мое дело — потеха,
не грех побездельничать час!
За то, что всегда мне до смеха
до слез из распахнутых глаз!

Что бисер мечу торовато,
что резвая Муза сия,
прости уж, Господь, глуповата,
ленива, смешлива, как я!

Пускай уж филолог Наташка
пеняет на то, что пусты
и так легковесны бумажки
с моими словами, но Ты,

но Ты-то ведь знаешь, конечно,
ты ведаешь, что я творю.
За всю мою нищую нежность
покорнейше благодарю!

За бережность и за небрежность,
за вежливость с тварью Твоей,
удачливость и безуспешность
непыльных трудов и ночей!

Спасибо. И Ты уж прости мне,
что толком не верую я,
что тостом дурацким, не гимном
опять славословлю Тебя!

Так выпьем по первой за астры,
нальем по второй — за исход,
по третьей наполним, и баста,
ведь троицу любит Господь!

Так выпьем за нашу победу,
как в фильме советский шпион,
за то, чтобы все я разведал
и вовремя смылся, как он.

К о н е ц

**ИЗ «ДВАДЦАТИ СОНЕТОВ
К САШЕ ЗАПОВОЙ»**

20

Я лиру посвятил сюсюканью. Оно
мне кажется единственно возможной
и адекватной (хоть безумно сложной)
методой творческой. И пусть Хайям вино

пускай Сорокин сперму и говно
поют себе усердно и истошно,
я буду петь в гордыне безнадежной
лишь слезы умиления все равно.

Не граф Толстой и не маркиз де Сад,
князь Шаликов — вот кто мне сват и брат
(кавказец, кстати, тоже)!.. Голубочек

мой сизенький, мой миленький дружок,
мой дурачок, Сашочек, ангелочек,
кричи «Ура!» Мы едем в зоосад!

КАРА-БАРАС

Опыт интерпретации классического текста

А. Немзеру

Идеал

Убежал...

(Нет, лучше эквиритмически) —

Идеалы

Убежали,

Смысл исчезнул бытия,

И подружка,

Как лягушка,

Ускакала от меня.

Я за свечку

(в смысле приобщения к ортодоксальной церковности),

Свечка — в печку!

Я за книжку

(в смысле возлагания надежд на советскую гуманитарную культуру),

Та бежать

И вприпрыжку

Под кровать!

(то есть — современная культура оказалась подчинена не высокой духовности, коей взыскует лирический герой, а низменным страстям, символизируемым кроватью как ложем страсти (Эрос), смертным одром (Танатос) и местом апатического или наркотического забвения (Гипнос))

Мертвых воскресенья чаю,

К Честертону подбегаю,

Но пузатый от меня

Убежал, как от огня.

Боже, боже,

Что случилось?

Отчего же

Всё кругом

Завертелось,

Закружилось

И помчалось колесом?

*(в смысле ницшеанского вечного возвращения
или буддийского кармического ужаса, дурной бесконечности —
вообще всякой безысходности)*

Гностицизм

За солипсизмом,

Солипсизм

За атеизмом,

Атеизм

За гностицизмом,

Деррида

За М. Фуко

*(Деррида здесь помещен более для шутки,
М. Фуко — более для рифмы) —*

Всё вертится,

И кружится,

И несется кувырком...

Вдруг из сей всемирной склоки

Подзабытый, чуть живой,

Возникает древний Логос

И качает головой:

«Ах ты, гадкий, ах ты, грязный,

Безобразный греховодник!

Ты чернее фарисея

(вариант —

ты наглее саддукея),

Полюбуйся на себя:

У тебя на сердце злоба,

На уме одна стыдоба,

Пред тобой такие виды,

Что сбежали аониды,

Аониды, пиэриды

Убежали от тебя.

Рано утром на рассвете

Умиляются мышата,

И котята, и утята,
И жучки, и паучки.

Ты один не умилялся,
А кичился и кривлялся,
И сбежали от кривляки
И утехи, и стихи.

Я — великий древний Логос,
Коим созидался мир,
Форм предвечных Устроитель,
Слов и смыслов Командир!

Если я тебя покину,
Отзову моих солдат,
В эту комнату иные
Посетители влетят,
И залают, и завоют,
И зубами застучат,
И тебя, дружок любезный,
Не пройдет пяти минут —
Прямо в бездну,
Прямо в бездну
С головою окунут!»

Он ударил в медный таз
(коим по мысли лирического героя все накрылось)
И вскричал: «Кара-барас!»
(В каком смысле? Непонятно)

И сейчас же угрызенья,
Сожаленья и прозренья
Принялись меня терзать,
Приговаривать:

«Судим, судим дезертира
За побег от Командира,

За отказ ему служить —
Жить, жить, жить, жить!
Дорожить и не тужить!»

Тут либидо подскочило
И вцепилось промеж ног,
И юлило, и скулило,
И кусало, как бульдог.

Словно от бейсбольной биты,
Я помчался от либидо,
А оно за мной, за мной
По юдоли по земной.

Я к Эдемскому детсаду,
Перепрыгнул чрез ограду,
А оно за мною мчится,
Застит вещие зеницы.

Вдруг навстречу мой хороший
Шестикрылый Серафим.
И презрительные рожи
Корчит Пушкин рядом с ним.

«Ну-ка живо — виждь и внемли!» —
Возглашает Серафим.

А потом как зарычит
На меня,
Как крылами застучит
На меня:
«Ну-ка, братец, не дури,
Говорит,
И спасибо говори,
Говорит,

А не то как улечу,
Говорит,
И назад не ворочусь!»
Говорит.

Как пустился я по улице бежать,
Прибежал к Порогу Отчему опять.
Смысла, смысла,
Смысла, смысла
Домогался и молил,
Копоть смыл
И суть отчистил,
Воск застывший отскоблил.

И сейчас же краски, звуки
Зазвучали в тишине:
«Восприми нас, глупый злюка,
Осторожней и нежней!»

А за ними и стишок:
«Сочини меня, дружок!»

А за ними и Эрот
(оставляем рифму «в рот»!).

Вот и книжка воротилась,
Воротилась тетрадь,
И поэтика пустилась
С метафизикой плясать.

Тут уж Логос изначальный,
Коим созидался мир,
Хора древнего Начальник,
Слов и смыслов Командир,
Подбежал ко мне, танцуя,
И, целуя, говорил:

«Вот теперь тебя люблю я,
Наконец-то ты, сынуля,
Логопеду угодил!»

Надо, надо Бога славить
По утрам и вечерам,

А нечистым
Нигилистам
*(вариант —
а засранцам-
вольтерьянцам) —*
Стыд и срам!
Стыд и срам!

Да здравствует Истина чистая,
И Красотища лучистая,
Истое наше Добро,
Вечное наше перо!

Давайте же, братцы, стараться,
Не злиться, не поддаваться
В тоске, в бардаке и во мраке,
В чумном бесконечном бараке —

И паки, и паки,
И ныне и присно —
Вечная слава —
Вечная память —
Вечная слава
Жизни!

Подымайте
Медный таз!

С нами Бог! Кара-барас!

десять отражений

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Сравнительно широкий читатель узнал о существовании поэта по имени Тимур Кибиров во времена перестройки и гласности. Рижская «Атмода» напечатала вольное «Послание Льву Семеновичу Рубинштейну», где название газеты «Правда» попало в недопустимо иронический контекст: «Ты читал газету “Правда”? Что ты, Лева, почитай! Там такую пишут правду, плещет гласность через край!». Главная газета страны ответила; «Литературка» тоже не удержалась; лучшей рекламы невозможно было придумать. И большей опасности нельзя было представить. О соблазне мимоходящей перестроечной славы не говорю; хватило бы и репутации «соловья перестройки» — интерес к стихам Кибирова был бы утрачен вместе с концом громокипящей эпохи. «Кто так рано весной запоет, Тот без голоса к лету останется».

Тимур ли Кибиров выбрал другой путь, другой ли путь выбрал Тимура Кибирова, но его литературная судьба сложилась принципиально иначе...

В кибировских сборниках «Сантименты» (Белгород, 1993) и «Стихи о любви» (М.: Цикады, 1993) собрана своего рода «поколенческая классика», литературный памятник

ник языковому мышлению тех, кому от 25 до 40; кибировский сленг совершенно непохож на сленг Евтушенко или Бродского. И хотя Кибирова принято считать постмодернистом, (...) если что здесь и цитируется, то весь смысловой объем русской словесности, без деления на «чистое» и «нечистое», на «советское» и «несоветское»; все, что входило в читательский обиход 60—80-х годов XX столетия, подлежит переработке, дистанцированию, «снятию»...

Человек кибировского поколения знает, помнит и понимает многое, но вместо «соловьиного сада» получает в наследство скворечник, чтобы проскрипеть, проскворчать о самом главном, своем, вечном...

Там, где запечатлевается «советский стиль», реанимируются 50-е годы, создается бессмертный образ «девушки с веслом», не обойтись без радиогимна «стенам древнего Кремля»; там же, где с детской доверчивостью говорится о непонятной, необъяснимой, алогичной, иррациональной любви к этому вот, какое есть, отечеству, неизбежно присутствие пионерской песенки «То березка, то рябина...».

На этом языке многие в 70—80-е года пытались выразить зарождающееся отечестволюбивое чувство, а последующее воспитание и самовоспитание мало что добавило к этому языковому опыту: «Это все мое родное,/ Это все хуе-мое!»...

Но это и есть его истинная цель — сказать о том, о чем уже, кажется и невозможно говорить (...) Именно поэтому сквозной темой кибировской поэзии и становится языковая трагедия русской культуры, одновременная неизбежность и невозможность исполнения «дарования как поручения».

Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ

Стихи Тимура Кибирова прозвучали вовремя и были услышаны даже сейчас, когда отечественная публика развлечена обилием новых забот и интересов.

Для беспокойных азартных художников — Кибиров из их числа — литература не заповедник, а полигон для сведения счетов с обществом, искусством, судьбою. И к этим потешным боям автор относится более чем серьезно. Прочтите его «Литературную секцию» и — понравятся вам эти стихи или нет, — но вас скорее всего тронет и простодушная вера поэта в слово, и жертвенность, с которой жизнь раз и навсегда была отдана в распоряжение литературе.

Приняв к сведению расхожую сейчас эстетику, Кибиров следует ей только во внешних ее проявлениях — игре стилей, цитатности. Постмодернизм, который я понимаю как эстетическую усталость, оскомину, прохладцу, прямо противоположен поэтической горячности нашего автора. Эпигоны Кибирова иногда не худо подделывают броские приметы его манеры, но им, конечно, не воспроизвести того подросткового пыла — да они бы и постеснялись: это сейчас дурной тон. А между тем именно «неприличная» пылкость делает Кибирова Кибировым. Так чего он кипятится?

Он поэт воинствующий. Он мятежник наоборот, реакционер, который хочет зашить, заштопать «отсюда и до Аляски». Образно говоря, буднично одетый поэт взывает к слушателям, поголовно облаченным в желтые кофты. И по нынешним временам заметное и насыщенное поэтическое одиночество ему обеспечено.

В произведениях последних лет Кибиров все более осознанно противопоставляет свою поэтическую позицию традиционно-романтической и уже достаточно рутинной позе поэта-бунтаря, одиночки-беззаконника. Кибировым движут лучшие чувства, но и выводы холодного расчета, озабоченного оригинальностью, подтвердили бы и уместность, и выигрышность освоенной поэтом точки зрения. (...)

Поэтическая доблесть Кибирова состоит в том, что он одним из первых почувствовал, как провинциальна и смехотворна стала поза поэта-беззаконника. Потому что греза осуществилась, поэтический мятеж, изменившись до неузнаваемости, давно у власти, «всемирный запой» стал повсеместным образом жизни, и оказалось, что жить так нельзя. Кибиров остро ощутил родство декадентства и хулиганства. Воинствующий антиромантизм Кибирова объясняется тем, что ему стало ясно: не призывать к вольнице впору сейчас поэту, а быть блюстителем порядка и благонравия. Потому что поэт связан хотя бы законами гармонии, а правнук некогда соблазненного поэтом обывателя уже вообще ничем не связан. (...)

Именно любовь делает неприязнь Кибирова такой наблюдательной. Негодование в чистом виде достаточно подслеповато. Целый мир, жестокий, убогий советский нашел отражение, а теперь и убежище на страницах кибировских произведений. Сейчас прошлое стремительно и охотно забывается, как гадкий сон, но спустя какое-то время, когда успокоятся травмированные очевидцы, истлеют плакаты, подшивки газет осядут в книгохранилищах, а американизированным сленгом предпочитающих пепси окончательно вытеснится советский новояз, этой энциклопедии мертвого языка цены не будет.

Многие страницы исполнены настоящего веселья и словесного щегольства. Жизнелюбие Кибирова оборачивается избыточностью, жанровым раблезианством, симпатичным молодечеством. Недовольство собой, графоманская жилка, излишек силы заставляют Кибирова пускаться на поиски новых и новых литературных приключений. Заветная мечта каждого поэта — обновиться в этих странствиях, стать вовсе другим, — конечно, неосуществима, но зато какое широкое пространство обойдет он, пока вернется восво-яси. (...)

Кибиров говорит, что ему нужно кому-нибудь завидовать. Вот пусть и завидует себе будущему, потому что в конце концов самый достойный соперник настоящего художника только он сам, его забегающая вперед тень.

Олег ЧУХОНЦЕВ

...Муза Тимура Кибирова явилась не на пустом месте, и явилась вовремя, как это бывает у истинного поэта. Сделавшись флагом целого поколения, его, так сказать, патентом на благородство, — имя поэта несет отпечаток прежде всего личного достоинства и самобытного таланта.

Принято считать Кибирова иронистом. Это не совсем так. Жанр его — ироническая элегия. С обэриутских времен у нас привился и расцвел теплый абсурдистско-графоманский стиль, стилёк, идущий от графа Хвостова и капитана Лебядкина, от домашних стихотворных альбомов периода всеобщей полуграмотности, от послевоенных поездных открыток и безмянного райка и песенок, воспроизводящий и пародирующий дефективно-цветистую бедную нашу жизнь в формах дефективного сознания, где поэзия высекается из самих вывихов жизни и речи. У Тимура Кибирова — другие учителя, другая группа крови: Мятлев, Измайлов, Потемкин, Саша Черный, популярная советская классика, наконец, сплавленные в один лирический и лиро-эпический поток с ясным синтаксисом, богатым словарем, россыпью канцеляризов, каскадом явных и скрытых цитат, провоцирующих поэтическую фантазию и память. Если он и пользуется сильными средствами, в том числе так называемой обценной лексикой — а еще Ключевский заметил, что сильные слова не суть сильные доказательства, — если и пользуется ими, то делает это с исключительным тактом, добиваясь большей выразительности. Я бы даже рискнул назвать пафос его стихов антиидиотическим и целомудренным. И тут я не могу не отметить, может быть, самую сильную сторону его дарования:

чистое вдохновение стиха, да простят мне это старомодное понятие, тот «магический кристалл», который и превращает обыденность и прозу жизни в поэтическую реальность, поскольку энергия вдохновения — не только эстетического порядка. Другое дело, что жизнь, окружающая поэта, ущербна и во многом, как я уже говорил, дефективна, и если автор скрупулезно фиксирует эти ряды несуразных соответствий, социальных аномалий, психопатических сдвигов, героических поступков, исторических катаклизмов, философических клише, — в самом этом перечне и описи имущества нашего бестолкового бытия есть своя теплота и поэзия, есть, как это ни парадоксально, увязанность всего со всем. А это и есть важнейшая задача поэта.

И все-таки в этих амбарно-книжных описях и поэмообразных развалах, с пристрастной дотошностью фиксирующих и воссоздающих картину абсурда и дикой поэзии постсоветской жизни, есть пронзительная невыразимо грустная нота. И даже не от нажима на приклатненную слезу. Вдруг — среди всей круговерти — с отчетливостью понимаешь, что эта с таким ироническим и живым блеском воссозданная картина привычной, обжитой нами жизни, рухнула. И рухнула окончательно, без каких-либо видимых усилий со стороны ее ностальгического регистратора. Рухнула, можно сказать, тоже дуриком и, главное, к чужим ногам. Не отсюда ли этот глуховатый надрыв, хладнокровный жар отчуждения?

Андрей ЛЕВКИН

Тимур Кибиров — самый трагический русский поэт последних десяти лет (как минимум, учитывая и Бродского).

Трагизм Кибирова является следствием, например, даже таких его ходов, как переименование и перевираание цитат: ему приходится тут стать трагиком хотя бы потому, что цитаты вот оказались такими непрочными, что допускают себя переименовать.

Леонид КОСТЮКОВ

В середине восьмидесятых Тимур Кибиров ошеломил московских слушателей поэзии редким устройством стиха — частями смешно, а в целом серьезно. Далее автор варьировал темы и жанры, но не ломал поэтический строй.

Считается, что поэзию любят непонятно за что. К Кибирову это не относится — мы ценим его стихи за то же, за что ценят хорошего собеседника. За юмор, ум, точность, вкус, меру, культуру. (Кстати, американцы хвалили Бродского примерно по тому же списку.) Если Тимур вступает в своих стихах в полемику — не с нами, а с кем-то глупым и чужим, — то автор не просто прав, а тысячу раз прав. Мы целиком и полностью на стороне поэта.

Олег ЛЕКМАНОВ

Хорошо помню, как в конце 80-х годов мы с друзьями открыли для себя стихи Тимура Кибирова. Это было ощущение, близкое к счастью: появился наш поэт. Наши мечты, нашу ненависть, наши страхи, наши кухонные разговоры он отчеканил во времяустойчивые, потому что — стихотворные, строки. Он стал голосом нашего и предыдущего поколений, сказал за нас то, что мы должны были сказать, но по косноязычию не умели. Он с полным правом мог бы повторить вслед за Мандельштамом: «Я говорю за всех с такою силой, / Чтоб небо стало небом».

Нужно заметить, что никакого такого особенного постмодернизма или концептуализма мы в строках Кибирова не различали. Обыгрывание советских штампов? Так и все мы увлеченно предавались этому занятию. Развернутые цитатные фейерверки? Так и на кухнях мы переговаривались друг с другом сплошь цитатами из Галича и Мандельштама, приправленными клише из песен Лебедева-Кумача и Матусовского — Долматовского... Кибиров же говорил со всеми нами (цитируем Андрея Немзера) на языке «гибком и привольном, яростном и нежном, бранном и сюсюкающем, песенном и ораторском, темном и светлом, блаженно бессмысленном и предельно точном языке русской поэзии. Живом, свободном и неисчерпаемом».

Нисколько не раздражала нас изрядная длина большинства текстов Кибирова, так называемые «кибировские километры», которые ему потом часто ставили в вину. В этих «километрах» чувствовалось напряженное и живое поэтическое дыхание, в них зримо выразилась сама позднесоветская эпоха — вязкая, тоскливая, при каждом удобном и неудобном случае норовившая подменить нормальное человеческое слово суконным новоязовским штампом.

Елена ФАНАЙЛОВА

Есть несколько аксиом, которые касаются Тимура Кибирова. Он один из самых популярных русских поэтов. Его стихи вошли в учебник по русской литературе XX столетия. Его творчество приводят в пример, когда говорят о постмодернизме. Кибиров все время переиначивает классические цитаты, делает их смешными и современными.

Читатели его любят, потому что он удивительно человеческий поэт, а также пользуется привычными нормами русского стихосложения, то есть рифмой и метрами. Иногда те же самые читатели ругают Кибирова за употребление ненормативной лексики.

Кибиров — один из немногих современных поэтов, который регулярно пишет поэмы и просто очень длинные повествовательные стихи. А это большое искусство, поколением русских постмодернистов практически утраченное. То есть у Кибирова имеется тяга к эпическому размаху. Он любит Державина и Ломоносова. Да и вообще — мил ему весь корпус русской и советской поэзии, который он нещадно пародирует. Истерический смех вызывала поэма Кибирова про детство и юность Константина Устиновича Черненко. Мы ее читали на кухне с друзьями в конце восьмидесятых параллельно с прослушиванием по кассетнику песни про Старика Козлодоева.

Кибирова все почему-то считают ироничным и остроумным поэтом. Между тем он типичный моралист. Одна из последних его книг («Улица Островитянова») — ужасно грустная, не сказать — трагическая книга. В ней Кибиров перестает писать в рифму (что затем продолжит в последующих сборниках). А еще Кибиров — один из немногих поэтов, которые пишут об истории.

Михаил ГАСПАРОВ

Поэты обычно не любят, когда хвалят их ранние стихи: им кажется, что это обидно для их теперешних стихов. Я прошу позволения нарушить этот этикет и сказать о ранних стихах Кибирова — стихах-цитатах, стихах-монтажах, стихах-центонах. Был такой латинский жанр «центоны»: стихи, составленные целиком из чужих строчек. На это были похожи поэмы Кибирова восьмидесятых годов — такие, как «Сквозь прощальные слезы»

и «Льву Рубинштейну»: описание отходящего советского времени словами и строчками этого самого советского времени, а заодно и досоветского.

Напоминаю почти наудачу строки из послания Рубинштейну.

Солнце всходит и заходит,
Тополь листья тербит.
Все красиво. Все проходит.
«До свиданья», говорит...
Наших деток в средней школе
Раздавались голоса.
Жгла сердца своим глаголом
Свежей «Правды» полоса...
То березка, то рябина,
То река, а то ЦК,
То зэка, то хер с полтиной,
То сердечная тоска!..
По долинам и по взгорьям,
Рюмка колом, комом блин.
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!..

Смешно? Смешно, хотя говорится в этой поэме, ни много ни мало, о конце света, и оптимистический конец приделан к ней больше по инерции бодрого стихотворного размера. Размер этот называется четырехстопный хорей, и он умеет делать веселым, народным и песенным почти все, что им ни пишешь. Поэтому цитаты из Пушкина, Окуджавы, частушек и советских песен сплавляются здесь воедино без особенного труда.

А теперь напоминаю поэму «Сквозь прощальные слезы». Внимание: стихотворный размер здесь другой, называется: трехстопный анапест.

Эх, заря без конца и без края,
Без кона и без края мечта!..
Это есть наш последний денечек,

Блеск зари на холодном штыке!
...Никогда уж не будут рабами
Коммунары в сосновых гробах...
Покоряя пространство и время,
Алый шелк развернув по ветру,
Пой, мое комсомольское племя,
Эй, кудрявая, пой поутру!

И так далее:

И акын в прикаспийских просторах
О батыре Ежове поет.

Кажется: прием тот же, монтаж такой же, можно продолжать до бесконечности. На самом деле — нет. У этого размера, у трехстопного анапеста, нет такой заранее заданной сложившейся интонации, как у предыдущего, — нет интонации, всему подсказывающей готовое настроение и смысл. В русской поэзии он звучит то Блоком, то Некрасовым, а свести Блока и Некрасова в один строй не так-то легко. А Кибиров сумел это сделать. Он привел их к одному знаменателю, и к какому? К советской массовой песне. Советские песни таким размером, конечно, были, но их было не так уж много: это уже после Кибирова нам кажется, что их много. Кто внимателен, тот заметил: в этих строчках то и дело легкими перестановками к нашему ритму подгоняются и строчки из совсем других размеров. Всю эту тонкую работу в размахе многостраничной поэмы молодой Кибиров сделал безукоризненно. Этот анапест уже почти независимо от содержания становится у него знаком советской культуры в целом — теперь, после Кибирова, он будет напоминать о сталинских парадах в каких угодно и в чьих угодно стихах. Создать такой мощный звуковой образ — поверьте мне как филологу — это не шутка, это подвиг. А Кибиров после нескольких поэм распростился с этой манерой, потому что решил: это слишком легко. И стал писать в новых своих манерах, а мы — неравнодушно следить за ним.

Наталья ИВАНОВА

На мой домашний неформальный вопрос о чтении стихов в детстве Кибиров назвал два имени: Лермонтов и Гамзатов.

Его поэзия проявляет в читателе весьма противоречивые чувства — все равно как махнуть стакан портвейна, закусив его валидолом, — и не случайно одну из первых книг Кибиров назвал «Сантименты». Но простодушно чувствительная интонация стихов, подпитанная узнаванием «общих мест» (название первого кибировского сборничка в составе коммуналки, отошедшей в советское прошлое «кассеты»), коварно обманчива. Наивность, чувствительность и даже, прошу прощения, банальность — лишь первое и безусловно спровоцированное автором впечатление, первовкусие. Когда б меня спросили, «мастер» ли Кибиров, — ответ умозрительному Сталину прозвучал бы незамедлительно: конечно, мастер. (И широкая грудь осетина.) Мастер, воскресивший позднюю советскую эпоху — во всем ее живом ужасе: советские ихтиозавры не в музее заизвесткованные позвоночники выставляют, а бродят по страницам, взывая к сочувствию.

«Все перепуталось» в языке, на котором говорят и думают в России: рядом, вместе звучат «контекст» и «параша», «утро туманное» и «дискурс с дискурсом». (Авторский комментарий: «дикие все имена».) Для Кибирова «дикость» — новый словарь, а серебряный (ушедший) и даже гипсовый (уходящий) вызывает у него приступы иногда рвотной, но ностальгии. Время истекает, уходит и словарь, в том числе — словарь персонажей; и Кибиров успевает еще до момента исторического застывания всадить в янтарь небольшого стихотворения (с учетом парафраза) Парфенова и Черненко, Мандельштама и Пушкина, Мориц и Рубинштейна, Парщикова с Овидием, Доренко, Пригова и Пелевина. Не говоря уж о группе «Стрелки». Для Кибирова нет области «плохого вкуса», нет вульгарного — любясь, он помещает китч в высокое пространство. С холодным вниманием посмотришь вокруг — / какая параша, читатель и друг! // Когда же посмотришь с вниманьем горячим, / увидишь все это немного иначе.

Но и мастерство, это безусловное качество Кибирова-перфекциониста, отнюдь не исчерпывает особенности Кибирова-поэта. Между обманчивой наивностью и действительной изощренностью раскинулась, как его же, кибировская, Россия среди морей, — подлинная территория поэта: живой русский язык. Кибиров, постоянно пробующий его

на зубок, вывернул новояз наизнанку, снабдив его легким, летучим центоном, — привил-таки лермонтовскую розу к гамзатовской осине.

И она зацвела.

Андрей НЕМЗЕР

Суть поэзии Кибирова в том, что он всегда умел распознавать в окружающей действительности «вечные образцы». Гражданские смуты и домашний уют, любовь и ненависть, пьяный загул и похмельная тоска, дождь и листопад, модные интеллектуальные доктрины и дебиловатая казарма, «общие места» и далекая звезда, старая добрая Англия и хвастливо вольтерьянская Франция, денежные проблемы и взыскание абсолюта, природа, история, Россия, мир Божий говорят с Кибировым (а через него — с нами) только на одном языке — гибком и привольном, яростном и нежном, бранном и сюсюкающем, песенном и ораторском, темном и светлом, блаженно бессмысленном и предельно точном языке русской поэзии. Всегда новым и всегда помнящем о Ломоносове, Державине, Лермонтове, Некрасове, Ходасевиче, Мандельштаме, Пастернаке. И — что поделать — Баратынском, Хомякове, Блоке, Маяковском. Не говоря уж о Пушкине.

Много чего хлебнув, ощутив мерзкий вкус страха и греха, зная о всеобщем нестроении и собственной слабости, Кибиров упрямо стоит на своем — не устает благодарить Создателя и пишет стихи. Как в пору прощания с советчиной, когда «некрасовский скорбный анапест», незаметно превращаясь в набоковский, забивал слезами носоглотку. Как в блаженные, но тайно тревожные годы «Парафразиса». Как на рубеже тысячелетий, когда уют дома на улице Островитянова сменялся болью «нотаций», а измотанный мучительной счастливой игрой Амура лирический герой справлял одинокий «полукруглый» юбилей. Как в ликующе наглom Солнечном городе, где «полоумному» стихоплету отведена роль заезжего (то есть чужого и ненужного) Незнайки. Так и сейчас — победно восклицая «С нами Бог! Кара-барас!», заполняя кириллицей поля «A Shropshire Lad», выстраивая волшебный дворец трех поэм, Кибиров остается Кибировым. Случай всякий впереди.

Книги ТИМУРА КИБИРОВА

Общие места. М.: Молодая гвардия, 1990

Календарь. Владикавказ: Ир, 1991

Стихи о любви: Альбом-портрет. М.: Цикады, 1993

Сантименты: Восемь книг / Предисл. С. Гандлевского.

Белгород: Риск, 1994

Когда был Ленин маленьким. СПб.: Изд-во

Ивана Лимбаха, 1995

Парафразис. СПб.: Пушкинский фонд, 1997

Избранные послания. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 1998

Памяти Державина. СПб.: Искусство — СПб, 1998

Интимная лирика. СПб.: Пушкинский фонд, 1998

Нотации. СПб.: Пушкинский фонд, 1999

Улица Островитянова. М.: Клуб «Проект ОГИ», 2000

Юбилей лирического героя. М.: Клуб «Проект ОГИ», 2000

Апоуг, ехі... СПб.: Пушкинский фонд, 2000

Кто куда, а я — в Россию / Предисл. А. Немзера.

М.: Время, 2001

Шалтай-болтай. СПб.: Пушкинский фонд, 2002

Стихи. М.: Время, 2005

Кара-барас. М.: Время, 2006

На полях «A Shropshire Lad». М.: Время, 2007

Три поэмы: 2006—2007. М.: Время, 2008

Т
О
Е
Т

**П о п е ч и т е л ь с к и й с о в е т
о б щ е с т в а п о о щ р е н и я р у с с к о й п о э з и и**

**Ж ю р и Р о с с и й с к о й
н а ц и о н а л ь н о й п р е м и и « П о э т »**

- *Дмитрий Петрович Бак* — критик, кандидат филологических наук, профессор РГГУ;
- *Николай Алексеевич Богомолов* — доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой литературной критики МГУ;
- *Яков Аркадьевич Гордин* — писатель, историк, соредактор журнала «Звезда» (Санкт-Петербург);
- *Александр Семенович Кушнер* — лауреат премии «Поэт» 2005 (Санкт-Петербург);
- *Александр Васильевич Лавров* — доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАН (Санкт-Петербург);
- *Самуил Аронович Лурье* — писатель, критик (Санкт-Петербург);
- *Андрей Семенович Немзер* — критик, кандидат филологических наук, профессор, обозреватель газеты «Время новостей»;
- *Олеся Александровна Николаева* — лауреат национальной премии «Поэт» 2006;
- *Владимир Иванович Новиков* — критик, писатель, доктор филологических наук, профессор МГУ;
- *Ирина Бенционовна Роднянская* — критик, член редколлегии журнала «Новый мир»;
- *Сергей Иванович Чупринин* — доктор филологических наук, профессор, главный редактор журнала «Знамя»;
- *Олег Григорьевич Чухонцев* — лауреат национальной премии «Поэт» 2007; председатель жюри 2008 года.